

АЛЕКСАНДР ВОДОЛАГИН

## МИСТЕРИЯ СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЫ

*Лев Толстой о мистическом смысле войны 1812 года*

*Должно знать, что война всеобща,  
и что закон есть борьба,  
и что все происходит через борьбу  
и по необходимости.*

Гераклит

### **Опыт войны – источник “твердого и ясного знания” России**

Война, с точки зрения тупого здравомыслия, провозгласившего себя Просвещением, безусловное зло, “противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие”<sup>1</sup>. Инертное, мещанское сознание обывателя противится осмыслению ее двойственной – и убивающей, и возрождающей человека – сущности. Последняя открывается только тому, кто вошел в Поток, подобно Гераклиту, Гегелю, Толстому. Именно война превратила начинающего sentimentalного романиста, Леву-реву, воспевавшего всяческих душечек-голубушек, в ясновидца Духа. Война разбудила в нем гения, который стал выразителем “тайных, задушевных мыслей” своих предков (Волконских, Толстых, Трубецких, Горчаковых)<sup>2</sup> и русского народа в целом, чувствующего свое духовное родство со всеми народами мира, но не позволяющего ни одному из них поработить его, превратить в этнический материал. “Война и мир” – уникальное творение русского гения, разбуженного ужасающей и преображающей стихией войны миров – войны, не сводимой к “столкновению цивилизаций”.

Период работы над “Войной и миром” – это толстовский Великий полдень, время “ужасающего просветления”<sup>3</sup>, перелома и решающего прорыва в становлении самим собой, в результате чего уже признанный мастер психологического анализа превзошел себя<sup>4</sup>, потрясенный прозрениями, недоступными пониманию психоаналитиков. Замысел романа вызревал у Толстого после знакомства с А. И. Герценом в Лондоне в марте 1861 года, когда писа-

---

*ВОДОЛАГИН Александр Валерьевич, доктор философских наук, профессор, Окончил философский факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Член Союза писателей России. Автор книг “Онтология политической воли” (1992), “Четвертая печать. Эскизы к феноменологии русского духа” (в соавт. 1993), “Метафизическая ось евразийства” (в соавт. 1994), “Философия воли” (2006), сборника рассказов “Оливема” (2000), романа “Ворох, или Играющий с огнём” (2010 — Литературная премия имени Н. В. Гоголя).*

тель только-только справился с “сосущей тоской” и вышел из депрессии, в которую его повергла смерть любимого брата Николая. Следы очарованности Толстого историософией Герцена, развенчавшего известных исторических кумиров в их мнимом величии и прискорбном непонимании масс — этих неуправляемых океанид, сохранивших в своей иррациональной социальной подвижности “дикую меткость инстинкта”, не раз проступают в тексте романа. Пожары Москвы 1812 года, огнем которых, можно сказать, был крещен Герцен, описаны в кульминационных главах “Войны и мира”. Там же встречаем и упоминание об отце Герцена — “ограбленном и оборванном капитане Яковлеве”<sup>5</sup>, направленном Наполеоном из горящей Москвы к императору Александру I с запоздалым признанием “в своей непреодолимой любви к миру”<sup>6</sup>. Герцен вывел Толстого и на Прудона, у которого писатель заимствовал название “Война и мир”, сменив первоначальное, невнятное — “Все хорошо, что хорошо кончается”. Таким образом, Герцен сыграл архетипическую роль Иоанна Крестителя по отношению к новоявленному основателю русской версии христианства — религии ненасилия и всепрощающей любви к поверженному врагу.

В процессе создания романа Толстой, как мы увидим далее, не только вырвался из пут поверхностной ассоциативной психологии, в которых бился несколько лет благодаря пленившим его ум Стерну и Руссо, но и пошел дальше Герцена в плане феноменологического исследования *несчастного сознания* интеллектуалов-отщепенцев, ищущих спасение на пути возвращения к коллективно-бессознательной, “роевой жизни” масс и соучастия в совершаемом ими “общем деле”. Путеводной звездой для Толстого в начальной стадии его художественно-философского исследования истоков русского политического радикализма стала “Полярная звезда” Герцена, где были напечатаны материалы о декабристах. Сообщая Герцену 26 марта 1861 года о затянном им романе, Толстой писал: “Декабрист мой должен быть энтузиаст, мистик, христианин, возвращающийся в 56 году в Россию с женою, сыном и дочерью и примеряющий свой строгий и несколько идеальный взгляд к новой России”<sup>7</sup>. Но для понимания чисто духовной, мистической мотивации радикального исторического действия, сопряженного со смертельным риском и демонстрирующего какое-то сверхчеловеческое бесстрашие, Толстому пришлось вернуть своего главного героя в эпоху наполеоновских войн, из которых война 1812 года стала для него самой значимой, более того — спасительной в религиозно-нравственном смысле, а личный опыт участия в ней оказался источником “твердого и ясного знания” России, каким, по словам Толстого, было знание России Рылеевым в 1825 году<sup>8</sup>. Поиски такого рода исцеляющего знания воодушевляли Толстого в период работы над “Войной и миром” (1861–1868 гг.)<sup>9</sup>. Заметим, между прочим, что даже на стадии работы над вторым томом Толстой был еще далек от своего главного открытия, которое лишь предвкушал, мечтая о том, как возьмется за 1812 год. Признаваясь в письмах к П. И. Бартеневу 1 и 26 ноября 1867 года, что “узел всего романа” — в эпизоде измены Наташи Ростовской князю Андрею<sup>10</sup>, писатель, видимо, еще не сознавал даже в общих чертах, к какой переработке произведения приведет его логика вопрошания о “смысле и значении войны” 1812 года. В более поздней редакции текста занимавшие Толстого-“психолога” сцены флирта невесты Андрея Болконского с Анатодем Курагиным меркнут на фоне мощно развертываемого автором образа войны, которая, обращая каждого из ее участников лицом к смерти, открывает возможность духовного преображения и постижения “таинственных сил, движущих человечеством”.

### Бытие-в-мире и влечение к войне

В первых главах романа разворачивается образ повседневного мирского бытия властвующей элиты, которая перестала быть русской, разучилась мыслить по-русски, говорит и грезит наяву по-французски, запуская в разговор, за неимением мыслей, штампы: Наполеон — “злодей и убийца”, “враг рода человеческого”, император Александр — “спаситель Европы”, “Зачем эта гадкая война?” и т. п. В салонную болтовню о войне, лишленную каких-либо проблесков понимания ее сущности, с детской непосредственностью врывается двадцатилетний Пьер Безухов<sup>11</sup>. Фигура юного атеиста, будущего масона<sup>12</sup>, каббалиста и террориста отягощена в романе соответствующей символикой:

Петр – имя апостола свободы, Без-ухов, т. е. лишенный, согласно каббалистической логике, и мудрости (правое ухо), и понимания (левое ухо). Кроме того, Пьер – “синий и красный”, что значит – стремящийся к мудрости и милосердный. Предложенная расшифровка имени и цветовых признаков персонажа художественно подтверждается описанными автором склонностями Пьера к философствованию и следованию принципу человеколюбия – вплоть до, казалось бы, неосуществимой в миру любви к врагу. Как видим, Толстой, не понаслышке знакомый с каббалой, вполне осознанно приступил в первом томе романа к формированию образа, который в третьем и четвертом томах стал ключевым для осмысления мистического смысла войны 1812 года.

Сколь бы долго мы ни вслушивались в болтовню о войне, мы никогда не узнаем о ней главного: что в ней такого притягательного для лучших русских людей, выведенных Толстым в романе? Так, князь Андрей, Николай Ростов и даже совсем невоенный человек Пьер, – все они испытывают **влечение к войне**. Во второй части первого тома (“1805 год”) Толстой перешел от описания болтовни о войне к изображению самой войны союзников (Австрии, Пруссии и России) против Наполеона, представлявшейся старому князю Болконскому “кукольной комедией”. Это **война-игра**, или игра в войну. Ясно, что человек как *существо играющее* в самом деле может испытывать неодолимое влечение к войне. Таким играющим в войну комедиантом, каким его воспринимал старый князь Болконский, остается на протяжении всего повествования “маленький Наполеон”, так и не понявший причину своего краха в России. Не потому ли, что смотрел на нашу страну лишь как на “театр военных действий”<sup>13</sup>?

Прочитавший обе части первого тома И. С. Тургенев не скрыл своего разочарования. Роман, на его взгляд, был “плох, скучен и неудачен”, свидетельствовал о “недостатке воображения и наивности в авторе”, утомлял “мелким психологизмом”, работой “памяти мелкого, случайного, ненужного”, вторая часть “1805 года” показалась ему также слабой<sup>14</sup>. Угадав ранее в Толстом будущего “художника мысли”<sup>15</sup>, Тургенев не увидел в его новой вещи изображаемого *сцепления мыслей*, хотя оно уже явно проглядывало сквозь хитросплетения авторского резонерства. Описывая общее настроение эскадрона Денисова перед боем, Толстой говорит:

“Неприятель перестал стрелять, и тем яснее чувствовалась та строгая, грозная, неприступная и неуловимая черта, которая разделяет два неприятельские войска. “Один шаг за эту черту, напоминающую черту, отделяющую живых от мертвых, и – неизвестность, страдания и смерть. И что там? Кто там? Там, за этим полем, и деревом, и крышей, освещенной солнцем? Никто не знает, и хочется знать; и страшно перейти эту черту, и хочется перейти ее; и знаешь, что рано или поздно придется перейти ее и узнать, что там, по той стороне черты, как и неизбежно узнать, что там, по ту сторону смерти. . .” Так ежели и не думает, то чувствует всякий человек, находящийся в виду неприятеля, и чувство это придает особенный блеск и радостную резкость впечатлений всему происходящему в эти минуты”<sup>16</sup>.

Мы видим, что за влечением к войне, захватывающим толстовских персонажей, скрывается **влечение к смерти**. Это открытие осталось незамеченным Тургеневым, который не сразу понял, что Толстой уже вырывается за пределы плоского психологизма и действительно становится “честнее Руссо”<sup>17</sup>. Отмеченный прорыв стал возможным благодаря прояснению экзистенциальных состояний личности в *пограничной ситуации*<sup>18</sup> – личности, дошедшей до “черты, отделяющей живых от мертвых” и заглянувшей за эту черту<sup>19</sup>. Именно в такой ситуации человек в своем собственном *бытии-к-смерти*<sup>20</sup> поднимается над несущим его в никуда потоком переживаний и открывает для себя перспективу духовной жизни – возможность чисто интеллектуального бытия-в-Духе. Война как ничто иное способствует духовному пробуждению. Свои главные прозрения герои Толстого переживают на войне, испытывая “холодный ужас” и вместе с тем – влечение к смерти<sup>21</sup>. В ситуациях военного времени рождаются их лучшие мысли о жизни и смерти, которые не возникали и не могли возникнуть у них в условиях мирного прозябания – в повседневности, пусть даже и озачоченной темой войны. Тут обнаруживается особый толстовский интерес к экзистенциально значимым мыслям, рождающимся в потрясенной войной психике, ставшей восприимчивой к импульсам и императивам Духа. Позднее писатель осознает, что не занимательность, а интуитивно выстроенное *сцепление мыслей* – главное для него в том жанре худо-

жественно-философского исследования, который он не хотел называть “романом”<sup>22</sup>. Именно это созидаемое продуктивным воображением *сопряжение* мыслей и образует философское содержание литературно-художественного произведения<sup>23</sup>, не сводимое к резонерским всплескам авторской рефлексии в тексте.

На первый взгляд, Толстой, говоря о “радостной резкости впечатлений”, которую придает всему происходящему чувство близости смерти, лишь психологизирует картину войны в стиле импрессионизма<sup>24</sup>. Так в припоминающем “впечатления сражения” сознании князя Андрея “пули весело свистят”. Особое оживление испытывают русские солдаты и офицеры перед началом боя, остро ощущая **веселящую близость смерти**, волнуемое притяжение Ничто. Накануне Шенграбенского сражения князь Андрей слышит “приятный философствующий голос” капитана Тушина – о том, “что будет после смерти”<sup>25</sup>. Философия, которой то и дело предаются персонажи Толстого, в полном соответствии с античной традицией, истолковывается им как *забота о смерти*. Вчитываясь в текст, мы замечаем, что изображенному в романе бытию-к-смерти внутренне присуща некая специфическая радость – но не та сократическая радость, которая связана с верой в реинкарнацию души, *снашивающей много тел*<sup>26</sup>, и не Христова *радость совершенная*, но греховная радость познания того, что “там, по ту сторону смерти”, радость обретения запретного, нечеловеческого знания. Понятно, что психологу, который возит-ся с впечатлениями, следуя примеру Юма или Руссо, и поэтому остается по эту сторону смерти, в пределах *человеческого, слишком человеческого*, упомянутое знание недоступно, да и не нужно. Показывая, что **оборотной стороной влечения к смерти оказывается влечение к познанию** Трансцендентного, Толстой расстается и с психологией, этой наукой для профанов, и с так называемой *диалектикой души*, и превращается в духовидца. Вместе со своими героями он переживает ужасающую **возможность пребывания на границе бытия и ничто** и из этого переживания извлекает запретное знание – подобно князю Андрею, которому открылось на Аустерлицком поле “высокое и вечное небо” (*великое все*), и Пьеру, осознавшему в плену, после несостоявшегося расстрела свою внутреннюю свободу как неотчуждаемое высшее благо<sup>27</sup>. Бесчеловечно-сверхчеловеческая сущность войны лишь приоткрывается в художественно воссоздаваемых толках, слухах и мнениях о ней, восприятиях и переживаниях ее непосредственных участников. Далее других от понимания этой сущности “теоретики войны” в русской армии (немец Пфуль и его последователи), которых бранит князь Андрей. Собственно толстовская концепция войны, отчасти высказанная в рефлексивных, философско-исторических главах романа, представляет собой развернутое выражение главного прозрения автора, касающегося *смысла смерти*, а не смысла жизни, как привыкли думать. Как только его герой (Пьер) замыкается в пределах земной жизни, на него находит отчаяние и “отвращение к жизни”<sup>28</sup>. Жизнь на земле страшна и отвратительна в своей обособленности от космической жизни, в своей мнимой самодостаточности и самоценности. Для русского духовидца важно чувствовать причастность мирам иным, сознавать, что и над ним есть духи, как учил Гердер, на которого ссылается князь Андрей в беседе с Пьером. И вот война – эта универсальная форма бытия-друг-против-друга – взламывает границы абсурдного мирского существования, вскрывает духовно-космический **смысл смерти** как решающего момента в “трансцендировании к трансцендентному”<sup>29</sup>, названного Толстым, в согласии с буддийской традицией, *пробуждением*. Война, несущая смерть, вместе со смертью дарует человеку духовное пробуждение<sup>30</sup> – *пробуждение от жизни*:

“Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собой усилие, проснулся.

“Да, это была смерть. Я умер – я проснулся. Да, смерть – пробуждение, – вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. . . С этого дня началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна – пробуждение от жизни”<sup>31</sup>.

Так, пройдя через “простое и торжественное таинство смерти”, скептик и атеист Андрей Болконский становится существом *знающим*<sup>32</sup> и *понимающим*. Смерть, будучи завершением и вершиной бытия-в-этом-мире, открывает иные миры, расширяя *мировместимость сознания* умирающего. Иначе сложилась судьба Пьера Безухова. Масоны не смогли привить ему добро-

детель “любви к смерти” и таким образом вывести его из профанического состояния “тоски жизни”. Подлинная инициация состоялась для него на Бородинском поле, причем накануне сражения, когда он, после разговора с князем Андреем о войне, в совершенно новом свете увидел русских солдат, которые “спокойно и как будто легкомысленно готовились к смерти”: “Он понял теперь весь смысл и все значение этой войны и предстоящего сражения”<sup>33</sup>. После сражения обретенное им понимание крепнет. Пьер, как и князь Андрей, во сне обретает то самое важное знание, которое было врожденно простым русским людям, солдатам нашей Победы: “Никогда, как ему казалось, он наяву не был в состоянии так думать и выражать свои мысли.

“Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам Бога, — говорил голос. — Простота есть покорность Богу; от него не уйдешь. И они просты. Они не говорят, но делают... Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится ее, тому принадлежит все. Ежели бы не было страдания, человек не знал бы границ себе, не знал бы себя самого. Самое трудное (продолжал во сне думать или слышал Пьер) состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить? — сказал себе Пьер. — Нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли — вот что нужно! Да, *сопрягать надо, сопрягать надо!* — с внутренним восторгом повторил себе Пьер...”<sup>34</sup>.

В интуитивном сопряжении мысли о жизни с мыслью о смерти рождается то **понимание скрытой целесообразности бытия-в-мире**, которое освобождает человека от страха, даруя ему *радость вечного становления самим собой*, радость восхождения от низших существ к высшим, о которой Пьер говорил князю Андрею, считавшему, что смерть — это лишь исчезновение “там в нигде”<sup>35</sup>.

### Война-охота

В 1873 году, когда Толстой дополнял и перерабатывал “Войну и мир”, готовя ее к новому изданию, он еще более четко и открыто сформулировал свою позицию в письме к А. А. Фету в связи с сообщением об умирающем Ф. И. Тютчеве. Мысли о Нирване, признавался Толстой, доводят его до *метафизического восторга*: “О Нирване смеяться нечего и тем более сердиться. Всем нам (мне, по крайней мере, я чувствую) она интереснее гораздо, чем жизнь, но я согласен, что, сколько бы я о ней ни думал, я ничего не придумаю другого, как то, что эта Нирвана — ничто. Я стою только за одно — за религиозное уважение — ужас к этой Нирване. Важнее этого все-таки ничего нет”<sup>36</sup>. Вот к этому самому важному знанию, которым обладают простые русские люди чуть ли не с рождения и которое не может быть рационально сформулировано, идут через опыт участия в беспощадной *народной войне* с “нехристиями” атеисты-интеллектуалы — князь Андрей и Пьер Безухов<sup>37</sup>. Толстой показывает, что оно в принципе недоступно для тех, для кого война — лишь игра, как для карьеристов в штабе Кутузова, или подобие обычной охоты, как для Николая Ростова. Конечно, **моменты игры и охоты** присутствовали в войне 1812 года, и они прекрасно воссозданы в романе. Наполеон готовится к Бородинскому сражению как к шахматной партии, а потом бежит из брошенной горожанами Москвы, словно *раненый зверь по пробитому следу*:

“Шорох Тарутинского сражения спугнул зверя, — разбивает Толстой мотив войны-охоты, — и он бросился вперед на выстрел, добежал до охотника, вернулся опять назад и, наконец, как всякий зверь, побежал назад по самому невыгодному, опасному пути, но по знакомому, старому следу”<sup>38</sup>.

Кутузов — не шахматист, и война для него — не игра. “Он, как опытный охотник, знал, что зверь ранен, ранен так, как только могла ранить вся русская сила, но смертельно или нет, это был еще не разъясненный вопрос”<sup>39</sup>. Сравнение главнокомандующего русской армии с охотником в приведенном контексте понятно, но его нельзя назвать удачным хотя бы потому, что оно противоречит всей линии поведения Кутузова, реализующего, по мысли Толстого, *мудрость недеяния*: толстовский Кутузов слишком пассивен для охотника. А пассивен он оттого, что четко сознает, с каким именно зверем имеет дело и что для победы над этим зверем одних только охотничьих навыков мало. Тем не менее при доработке романа писатель не отказывается от найденной им ме-

тафоры, так как именно она позволяет ему выйти на глубинный уровень понимания того, чем война 1812 года была для каждого истинно русского человека. То была священная **война-мистерия**. На мистериальный смысл народной войны 1812 года Кутузов лишь намекает. Узнав о бегстве Наполеона из Москвы, он, отмахнувшись от докладывавшего ему что-то Барклая де Толли, “повернулся в противную сторону, к красному углу избы, черневшему от образов.

– Господи, создатель мой! Внял ты молитве нашей... – дрожащим голо- сом сказал он, сложив руки. – Спасена Россия. Благодарю тебя, Господи! – И он заплакал”<sup>40</sup>.

Пьер Безухов – тем более не охотник – по-своему участвует в **русской охоте на зверя, выходящего из бездны**. В начале 1812 года он видит в темном звездном небе над Пречистенским бульваром огромную яркую комету, которая “предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света”, а для него стала вестницей грядущего духовного обновления. Сгущающаяся над Россией атмосфера Апокалипсиса оказывает ободряющее действие на пневматика. Немного упражнений в каббалистике – и ему уже ясно, что делать и с чего начать: именно ему, русскому Безухову (т. е. полоумному, верившему в возможность вечного мира) “предназначено положить предел власти зверя”, воссоздает Толстой ход мысли своего главного (если иметь в виду и замысел романа о декабристе) персонажа, осознавшего себя *солдатом, прячущимся от жизни* и в своем граничившем с безумием бесстрашии, готовым к “смерти второй”, обещанной Иоанном Богословом:

“Два одинаково сильные чувства неотразимо привлекали Пьера к его намерению. Первое было чувство потребности жертвы и страдания при сознании общего несчастья... другое – было то неопределенное, исключительно русское чувство презрения ко всему условному, искусственному, человеку-скому, ко всему тому, что считается большинством людей высшим благом мира. В первый раз Пьер испытал это странное и обаятельное чувство в Слободском дворце, когда он вдруг почувствовал, что и богатство, и власть, и жизнь, все то, что с таким старанием устраивают и берегут люди, – все это ежель и стоит чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым все это можно бросить”<sup>41</sup>.

Таково умонастроение русского фаталиста: ни богатство (= собственность), ни власть, ни даже сама жизнь ничего не стоят! Что там шопенгауэровская “воля к жизни” или ницшеанская “воля к власти” по сравнению с **русской любовью к судьбе**<sup>42</sup>! Сама по себе борьба за выживание лишена для фаталиста смысла и как таковая абсурдна. Банальности вроде той, что жизнь – высшая ценность, его не трогают. Интересно другое: а что там, за чертой – по ту сторону смерти? Жизнь для него целесообразна лишь постольку, поскольку он сохраняет связь с по-ту-сторонним, с *мертвыми, которые не мертвы*. Вот почему страшна для европейца встреча с русским человеком в бою, и любое нашествие жизнелюбцев Запада разбивается о русскую волю, не выдерживает противоборства с духом русского воина. Этот **дух, исполненный веселой решимости** выиграть сражение, победить вопреки подавляющему превосходству противника, захватывает и Пьера на Бородинском поле, где он, по словам Толстого, “с бессознательно-радостной улыбкой смотрел на то, что делалось вокруг него”<sup>43</sup>, замирая от восхищения пред красотой зрелища. Война в описании Толстого столь же двусмысленна, как и сама смерть: она и чарующе прекрасна, и отвратительна (“самое гадкое дело жизни”). В ней обнаруживается “**таинственная безучастная сила**” (выделено мною. – **А. В.**)<sup>44</sup>, вынуждающая людей убивать друг друга даже тогда, когда они не хотят этого делать. Участие в Бородинском сражении означало для Пьера-атеиста крещение огнем и Духом: он стал знающим и понимающим, как и князь Андрей, который “стал понимать слишком много”, сознавая при этом, что “не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла...”<sup>45</sup>. Так одним штрихом Толстой, исповедовавший неискоренимое русское двоеверие, все же вписывает свой образ войны в библейскую картину мира. Не будучи правоверным христианином, он не был и “последовательным *нигилистом*”, как с излишним пристрастьем утверждал прот. Георгий Флоровский<sup>46</sup>.

Война добросовестно изображается Толстым в нескольких ракурсах, в том числе и такую, какой она представляется христианскому сознанию, хотя это видение войны и не совпадает с авторским. Последнее наиболее от-

четливо проступает в образе приснившегося Пьеру “жидкого колеблющегося шара”, который актуализирует известный еще досократикам архетип *сфайроса* – единого самодостаточного бытия, вне которого ничего нет и не может быть. Стабильное и неизменное в целом, мировое бытие вместе с тем подвижно и текуче, правда, эта динамика заметна лишь на его поверхности, образованной бесконечным множеством капель, каждая из которых стремится к расширению своей индивидуальности и захвату наибольшего жизненного пространства<sup>47</sup>. Важно отметить, что борьба между шарообразными индивидуальностями происходит только на поверхности большого шара, т. е. в области проявления. Поглощение одной капли другою – лишь видимость исчезновения-смерти. В сущности же, никакой смерти нет. *Война всеобща*, утверждал Гераклит. Всеобща именно потому, что является формой саморазрушения и самовосстановления мира-сфайроса. Ни одна капля, даже если она являет собой “коллективную историческую индивидуальность”<sup>48</sup>, не способна в принципе инициировать войну, стать ее “причиной”, так как война в контексте рассматриваемой модели представляет собой борьбу между проявлениями однородной, текучей “монадической субстанции”, которая играет сама с собой, хотя эта игра и принимает зловещую форму самопожирания. Такова, к примеру, и шопенгауэровская *воля к жизни*, пожирающая самое себя. Толстовский символ “жидкого колеблющегося шара” делает понятным и другое высказывание Гераклита: “Бог есть день и ночь, зима и лето, война и мир...”<sup>49</sup> В сновидении Пьеру открывается и местоположение Бога: Он – в середине шара, т. е. имманентен мировому бытию. Поэтому прав был В. В. Зеньковский, назвавший мирозерцание Толстого “системой мистического имманентизма”<sup>50</sup>.

В теоретических главах романа это мирозерцание несколько завуалировано навязчиво демонстрируемой автором логикой “здорового смысла”. Механистический натурализм в толковании событий осложняется абстрактным спиритуализмом: словно забыв о своих собственных рассуждениях об “однородных влечениях” и “равнодействующей” миллионов человеческих произволов, входящей выражение в феномене властвующей “общей воли”<sup>51</sup>, писатель вводит рационально необъяснимый, определяющий фактор военной победы или поражения – некий X, и тут же интерпретирует его как “дух войска”. Можно сказать, что Толстой, преодолевая сопротивление исторического материала, проникая в смысловой подтекст изображаемых событий 1812 года, вопреки своему исходному, рассудочно-просветительскому умонастроению и неприятию гегельянства<sup>52</sup>, все-таки становится спиритуалистом, усматривающим в необъяснимом стечении обстоятельств и совпадении случайностей “руку провидения”<sup>53</sup>.

Не чувствующий руководящих импульсов божественной воли Наполеон проигрывает Бородинское сражение и не знает, что ему делать с вожделенной добычей – *святою* Москвой с ее двумя сотнями церквей (“К чему такая бездна церквей?” – недоумевал Наполеон в начале войны, видя в множестве московских храмов “признак отсталости народа”). В конце Бородинского сражения, говорит Толстой, он “покорно стал исполнять ту жестокую, печальную и тяжелую, нечеловеческую роль, которая ему была предназначена”<sup>54</sup>. Получается, он – едва ли не жертва? Что значит здесь его “нечеловеческая роль”? Роль “палача народов”, о которой пишет Толстой, все же человеческая. Выходит, это – угаданная Пьером роль апокалиптического зверя, “число имени” которого – шестьсот шестьдесят шесть (Отк. 13, 18). Но таковая не могла быть предписана Бонапарту Господом, к которому взывал Кутузов и который явно содействовал русской победе. По Толстому, Наполеон не понимал скрытого смысла игры, в которую его втянул тот, “кто руководит людьми и мирами”<sup>55</sup>. А руководит ими, надо полагать, некий *противобог*, “великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатанюю” (Отк. 12, 9) – подлинный предводитель идущих на Россию “нехристей” – выводящий “разъяренного зверя”<sup>56</sup> на авансцену мировой истории для очередной схватки со своим антиподом – Христом – и его православным воинством<sup>57</sup>. Примерно к такой расшифровке оккультного смысла войны 1812 года подводит Толстой Пьера Безухова: **идущая за Христом Россия решила на противодействие силам антихристианского Запада**, во главе которых – разъяренный зверь. Зверь, которому “дано было вести войну со святыми” (Отк. 13, 7). В этом же и смысл восклицания смоленского купца Ферাপонтова: “Решилась! Россия!”<sup>58</sup>. Тут подлинно

евангельский дух нестяжательства и отторжения благ мира сего бросает вызов идущему с запада духу наживы и низменного гедонизма. Описывая это духовное противоборство в его материальных, естественно-исторических проявлениях, Толстой привлекает внимание к феномену сверхчеловеческой стойкости русского войска, которое стояло на пути Наполеона до Бородинского сраженья и стояло после, несмотря на потери. В этом характерном русском стоянии, лишенном скрытой агрессивности и жажды мести, более того – таящем в себе немыслимую в миру любовь к врагу, любовь-жалость<sup>59</sup>, обнаруживался тот субстанциальный дух народа, который и обеспечил России победу в столкновении с Западом в 1812 году. Толстой прямо говорит о том, что наполеоновское нашествие было агрессией Запада против России, ссылаясь при этом на Наполеона, утверждавшего, что в его 400-тысячной армии собственно французов было всего лишь 140 тысяч, остальные 260 тысяч – немцы, австрийцы, итальянцы, испанцы и, конечно же, издавна полюбившиеся нам поляки. Та война действительно была для нас “борьбой с Западом”<sup>60</sup>, который внутренне давно изменил евангельскому духу нестяжания и миролюбия, став для православного сознания символом царства смерти. То была последняя попытка Запада остановить перемещение центра мировой истории в Москву – Новый Иерусалим. Гегель назвал Наполеона в 1806 году “мировым духом верхом на белом коне”. Русские же восприняли его иначе: как всадника на бледном коне, которому имя – смерть (Отк. 6, 8), так что его поражение в России стало нашей христианской победой над смертью, началом духовного пробуждения русской элиты, выдвинувшей через десятилетие из своей среды фалангу бесстрашных апостолов свободы.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. в двадцати двух томах. Т. VI. М., 1980. С. 7.

<sup>2</sup> “Так я, Лев Толстой, есть временное проявление Толстых, Волконских, Трубецких, Горчаковых и т. д.” (Толстой Л. Н. Собр. соч. в двадцати двух томах. Т. XXII. С. 226).

<sup>3</sup> Великий полдень – термин позднего Ф. Ницше, означающий момент великого разрыва с “человеческим, слишком человеческим” и выхода на уровень “сверхчеловеческого” понимания жизни. Ницшеанский Великий полдень сопоставим с шопенгауэровским Вечным полднем – символом концентрированного выражения мировой “воли к жизни” в мгновении настоящего, *здесь и теперь*, когда полнотой исчезает страх “смерти как своего уничтожения”.

<sup>4</sup> Один из самых вдумчивых толкователей “Войны и мира” Н. Н. Страхов видел в Толстом лишь “изумительного мастера в анализе всякого рода душевных перемен и состояний”, “по преимуществу реалиста-психолога”. Почувствовав, что перед ним “загадочное произведение”, “самое непонятное из всех произведений русской литературы”, Страхов, следуя известной читательской инерции, свел его содержание к изображению “души человеческой в ее зависимости и изменчивости”, не уловив пневматологического содержания романа. А последнее связано не с изображением “малейших оттенков душевной жизни”, о чем только и говорил Страхов (Страхов Н. Н. Литературная критика. М., 1984. С. 271, 266, 328, 281, 272), а с художественно-философским исследованием духовного пробуждения человека. Слепота Страхова в этом пункте удивляет. Упустив из виду интерес Толстого к движению мыслящего духа, к тому, что писатель называл “сцеплением мыслей”, Страхов крайне упростил смысл романа: “Итак, таинственная глубина жизни – вот мысль “Войны и мира”...” (Там же. С. 289). Этот тезис стал лейтмотивом псевдоницшеанской трактовки творчества Толстого в работе В. В. Вересаева “Живая жизнь” (1910). Логике упрощения в толковании произведений Толстого следовал и Д. С. Мережковский, назвавший писателя “тайновидцем плоти” – противоположность Ф. М. Достоевскому, “тайновидцу духа” (Мережковский Д. С. В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет. М., 1991. С. 141). В действительности оба были ясновидцами Духа. Толстой более спокойно, чем Достоевский, реагировал в тех случаях, когда на него навешивали ярлык “психолога”. На поверхности в интерпретации “Войны и мира” остается и С. А. Левицкий, утверждая в своих “Очерках по истории русской философии”, что роман Толстого – это “гомеровский гимн жизни” (Левицкий С. А. Соч. в двух томах. Т. I. Очерки по истории русской философии. М., 1996.



С. 158). В таких упрощающее-искажающих толкованиях Толстой предстает в виде “дионисической” природы, сторонника плоской натуралистической философии, граничащей с поверхностным витализмом. В действительности он с юности осознавал себя приверженцем метафизики воли. В “Войне и мире” Толстой отождествляет сущность человеческой жизни со свободной волей и демонстрирует многообразие степеней свободы в художественных образах *детской воли*, *рабской воли*, *вождеющей воли* и *кажущегося слабаволия*, так что страховская “таинственная глубина жизни” у Толстого (о “гимне жизни” вообще говорить не следует) есть на деле неведомая психологам *тайна психе* – тайна свободной воли, приносящей в жизнь форму, цель и смысл, без чего жизнь есть “зло и бессмыслица”. И эта же воля, что еще важнее, придает смысл смерти. Нужно отметить, что до “великой глубины, которая означает вечную свободу Божию” (Я. Беме), Толстой добрался лишь в четвертом томе “Войны и мира”, где он существенно подкорректировал свой фатализм.

<sup>5</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. в двадцати двух томах. Т. VII. М., 1981. С. 93.

<sup>6</sup> Герцен А. И. Соч. в девяти томах. Т. 4. М., 1956. С. 17.

<sup>7</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. в двадцати двух томах. Т. XVII–XVIII. М., 1984. С. 561.

<sup>8</sup> Там же. С. 560.

<sup>9</sup> Приведенная хронология дана с учетом работы Толстого над романом “Декабристы”, где фигурировал Пьер Лабазов – будущий Пьер Безухов. Полностью эта работа, вылившаяся в роман “1805 год”, захватила его осенью 1863 года. Софья Андреевна, несколько опередив Страхова, сетовала, что “все военное и историческое” у Левочки “выйдет плохо, а хорошо будет другое – семейное, характеры, психологическое” (Толстой Л. Н. Собр. соч. в двадцати двух томах. Т. XVII–XVIII. С. 622), так что Страхов в своем толковании “Войны и мира” отчасти следовал женской логике. Изображая историческую жизнь эпохи наполеоновских войн в ее фактичности, Толстой постигал сущность *чистого гештальта войны*, ускользающую от женского восприятия (маленькой княгини Болконской, Наташи Ростовой, Сони и других “душечек”). Сущность войны открывается лишь в том “строгом и величественном строе мысли”, который выводит персонажей Толстого за пределы будничного сознания впечатлительных *психиков*, превращая их в подвижников духа, в *пневматиков*.

<sup>10</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. в двадцати двух томах. Т. XVII–XVIII. С. 649, 669, 671.

<sup>11</sup> Толстой упорно проводит мотив инфантильности своего главного персонажа, сравнивая 27-летнего Пьера, оставшегося в захваченной французами Москве, с “мальчиком, убежавшим из школы”. Страхов называл Пьера “взрослым ребенком” и “чисто русской натурой” (Страхов Н. Н. Литературная критика. С. 284, 319). Выходит, Пьер – один из тех *русских мальчиков*, в головах которых, по словам Герцена, существовала Россия *будущего*, и вся жизнь которых была “посильным исполнением отроческой программы” (Герцен А. И. Соч. в девяти томах. Т. 5. М., 1956. С. 32, 578).

<sup>12</sup> Один из знатоков истории оперативного масонства отмечает, что Толстому “удалось ярко передать глубину масонского спиритуализма”, и высказывает домыслы о том, что писатель якобы был посвящен в масоны, что не соответствует действительности (Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем. М., 1990. С. 49).

<sup>13</sup> Угаданное Толстым игриво-театральное отношение Наполеона к войне проявилось в единственном беллетристическом произведении будущего императора Франции, где он представил романтизированный образ некоего воинственного Клиссона с присущими ему “желанием разрушать” и “убивать себе подобных, навлекая на себя кары”, с юности жадно мечтавшего о сражениях и “военном счастье”, но очень быстро забывшего о своем “военном призвании” и “злых мужских играх на поле брани” при виде поразившей его своей “свежестью” дамы – Евгении (Наполеон Бонапарт. Клиссон и Евгения. М., 2007. С. 17–31). Крах Наполеона в 1812 году был неизбежен, поскольку военной агрессии Запада Россия противопоставила тотальную мобилизацию нации, отказавшись играть в войну по принятым в Европе правилам. Наполеон показан в “Войне и мире” этаким заигравшимся мальчиком. Толстой обращает внимание на его “ребяческую дерзость и самоуверенность”, “безумие самообожания” и “искренность лжи”, словно говоря: все мы – дети до тех пор, пока не понимаем, что не мы играем в игру, а *игра играет нами*. О какой же игре речь? Через 20 лет после публикации “Войны и мира” Толстой сказал прямо: “То, что мы называем жизнью, есть игра смерти” (Толстой Л. Н. Т. XVII–XVIII. С. 95). Итак, война – это **игра смерти**, в которой человеческие правила ничего не значат и “конечная цель” ко-

торой не известна людям. Особая роль в интеграции общества военного сословия – *стражей, людей смерти*, т. е. тех, кто придает смерти смысл, – известна со времен Платона. О ней говорил и один из создателей сакральной социологии Жорж Батай в связи с анализом феномена “радости перед лицом смерти” (Коллекция социологии. 1937–1939. СПб. 2004, 481–484).

<sup>14</sup> Тургенев И. С. Соч. в двенадцати томах. Т. XII. Письма. 1831–1883. М., 1958. С. 358, 360.

<sup>15</sup> Там же. С. 193.

<sup>16</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. IV. М., 1979. С. 181. На самом деле Толстой описывает здесь отнюдь не общее чувство, а, скорее, “переживание для немногих”.

<sup>17</sup> Тургенев И. С. Соч. в двенадцати томах. Т. XII. С. 273.

<sup>18</sup> Используем термин профессионального психопатолога и одного из создателей экзистенциальной философии К. Ясперса. Человеческое существование есть бытие-в-ситуациях. Особенность пограничных ситуаций в том, что они даны вместе с существованием (экзистенцией) и не могут быть произвольно изменены нами. В них мы выходим на *границу*, за которой – *Иное*, Трансцендентное, скрытое от нашего сознания и тем более неуловимое для взгляда со стороны. Это *Иное* – несуществование, небытие – *есть* для нас, поскольку мы знаем о своей смертности и действуем, исходя из мыслимой возможности смерти в любую минуту. В пограничной ситуации я, совершая свое бытие-в-мире, в то же время оказываюсь вне мира и смотрю на свое мирское бытие как на чуждое мне, бессмысленное и отвратительное. Человек вне такого трансцендирования принципиально ничем не отличается от животного. (Подробнее о *бытии-на-границе* см.: Водолагин А. В. Тусклый свет экзистенции. // Вопросы философии, 2010, № 4).

<sup>19</sup> В своем порыве к постижению смысла войны 1812 года Толстой сам заглянул за ту черту, которая отделяет живых от мертвых, и воскресил “своих мертвецов” – двух дедов, отца, мать и других родичей. Его продуктивное воображение актуализировало “память крови”, и он таким образом выполнил миссию гения в своем роде. Даниил Андреев заблуждался, когда утверждал, что духовные очи у Толстого не разомкнулись: “Глубинная память не пробудилась, и виденное его душой в иных слоях или в других воплощениях он не вспомнил” (Андреев Д. Л. Роза мира. М., 2006. С. 542–543).

<sup>20</sup> Термин “бытие-с-смерти” был введен Мартином Хайдеггером в экзистенциальную аналитику человеческого бытия-в-мире после проработки толстовской повести “Смерть Ивана Ильича”. Страх смерти возвращает существующее “Я” из упадочной поглощенности “миром” повседневности к подлинному бытию (Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 1986. S. 189).

<sup>21</sup> Есть в романе и исключения. Так, захваченный влечением к смерти Долохов то и дело создает *для себя и для другого* (Пьера Безухова, Пети Ростова) смертельно опасные ситуации (дуэль, разведывательный рейд с переодеванием во французские мундиры), но при этом не испытывает чего-либо подобного духовному пробуждению, оставаясь, как и Николай Ростов, чистым *психиком*, слезливой “душечкой” (особенно – с матерью). Прототипом Долохова был дальний родственник Льва Толстого “американец” Федор Толстой, которого писатель называл “необыкновенным, преступным и привлекательным человеком”. В “Воине и мире” он выведен в качестве игрока и бретера, “хищного типа”, которому ничего не стоит убить человека. Долохов – зверочеловек со зловещей двоящейся улыбкой, человек с “непробудившимся сознанием”.

<sup>22</sup> “... Сочинение это не есть роман и не есть повесть и не имеет такой завязки, что с развязкой у нее уничтожается интерес”, – разъяснял Толстой М. Н. Каткову, обосновывая свою просьбу не называть вещь в оглавлении романом (Толстой Л. Н. Собр. соч. в двадцати двух томах. Т. XVII–XVIII. С. 624).

<sup>23</sup> Водолагин А. В. Проблема философского содержания литературно-художественного произведения. // Философские науки, 1982, № 6. С. 142–144.

<sup>24</sup> Для импрессиониста мир – это комплекс *впечатлений* о нем. Артур Шопенгауэр, главную книгу которого Толстой с наслаждением изучал в период завершения работы над “Войной и миром”, был предтечей импрессионизма в литературе.

<sup>25</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. IV. С. 224–225. Еще в юности Толстой усвоил мысль Платона о том, что философствовать значит учиться умирать. Свидетельства его позитивного отношения к платонизму можно обнаружить уже в его ранних произведениях.

<sup>26</sup> Об этой радости в ожидании смерти – популярный в России платоновский диалог “Федон”.

<sup>27</sup> Якоб Беме показал в своей первой книге, что “Вечное Ничто”, открывающееся человеку в момент ужасающей его возможности смерти, и есть божественная

- Свобода. “Свобода есть тихое и мирное ничто, которое приемлет в себя Свет и тьму делает вещественной”, — писал тевтонский философ (Беме Я. Аврора, или Утренняя заря в восхождении. М., 1990. С. 39).
- <sup>28</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. V. М., 1980. С. 307.
- <sup>29</sup> Трансцендирование к трансцендентному — ключевое понятие экзистенциальной философии Николая Бердяева (Бердяев Н. А. Самопознание. Опыт философской автобиографии. М., 1990. С. 272).
- <sup>30</sup> Идея духовного пробуждения человека стала центральной в философском трактате Толстого “О жизни” (1888), который писатель называл своим самым важным произведением.
- <sup>31</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. VII. М., 1981. С. 70–71.
- <sup>32</sup> Ясперс в связи с этим говорит о совершаемом в пограничной ситуации прыжке (*Sprung*) к “субстанциальному одиночеству универсально знающего” (Jaspers K. Philosophie. II. Existenzherhellung. Berlin. Heidelberg. New York, 1973. S. 207).
- <sup>33</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. VI. С. 218.
- <sup>34</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. VI. С. 304.
- <sup>35</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. V. С. 123. “Для человека с раскрывшимся духовным слухом и зрением встреча с тем, кто нам известен и нами любим как Андрей Болконский, так же достижима и абсолютно реальна, как и встреча с великим человеческим духом, которым был Лев Толстой” (Андреев Д. А. Роза мира. С. 529). Магия толстовского текста такова, что объективно-идеальное бытие его персонажей стало почти чувственно достоверным для нескольких поколений читателей “Войны и мира”, более действенным в своей значимости, чем окружающая реальность. На эту особенность толстовских образов обращали внимание также И. А. Бунин и Р. Роллан.
- <sup>36</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. в двадцати двух томах. Т. XVII–XVIII. С. 724.
- <sup>37</sup> Оба персонажа — атеисты — демонстрируют, что **начинающееся с безверия русское познание Бога совершается через участие в мистерии священной войны.**
- <sup>38</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. VII. С. 100.
- <sup>39</sup> Там же. С. 121.
- <sup>40</sup> Там же. С. 123. Вопреки толкам об искажении Толстым исторических фактов и принижении “роли личности в истории”, А. З. Манфред в своем фундаментальном историческом исследовании не забыл упомянуть об “изумляющем глубиной понимания раскрытии Львом Толстым значения Бородинской битвы” (Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. М., 1980. С. 676).
- <sup>41</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. VI. С. 372.
- <sup>42</sup> Эта любовь к судьбе, с восхищением замеченная Ницше в русских солдатах, придавала им сверхчеловеческое бесстрашие и силы стоять насмерть. Толстовская любовь к судьбе получила подкрепление при чтении Шопенгауэра в период переработки текста “Войны и мира”. Шопенгауэровский фатализм, сжато выраженный в тезисе о том, что все случайное — “орудие миродержавной судьбы” (Шопенгауэр А. Собр. соч. в пяти томах. Т. 1. М., 1992. С. 294), стал лейтмотивом толстовской историософии.
- <sup>43</sup> Толстой Л. Н. Т. VI. С. 240.
- <sup>44</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. VII. С. 109.
- <sup>45</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. VI. С. 219.
- <sup>46</sup> Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 407.
- <sup>47</sup> Человек течет, утверждал Толстой. Это чисто гераклитовское видение природы человека получило развернутое выражение в океанической историософии автора “Войны и мира”, смысловым центром которой стал открывшийся Пьеру во сне чистый гештальт войны (используем термин Эрнста Юнгера).
- <sup>48</sup> Коллективная историческая индивидуальность — понятие евразийской философии истории (Водолагин А. В. Нужна ли России “национальная идея”? // Национальные интересы, 2003, № 1; Водолагин А. В. “Восток в России”: идея восстановления всемирного родства в русской религиозной философии. // Национальные интересы, 2008, № 4.)
- <sup>49</sup> Греческая философия. Под ред. Моники Канто-Спербер. Т. I. М., 2006. С. 34. “От Гераклита и до Шеллинга и Гегеля эта точка зрения, что “война — отец всех вещей”, так и не была в должной мере обоснована, — утверждал австрийский социолог и экономист Отмар Шпанн. — Хотя, разумеется, поверхностный исторический опыт, в котором нет ничего абсолютно совершенного, свидетельствует

- в пользу этой точки зрения” (Шпанн О. Философия истории. СПб., 2005. С. 233). Еще бы! Ведь весь “исторический опыт”, каким бы “поверхностным” он ни казался мнимому глубокомыслию, и есть опыт ведения войн.
- <sup>50</sup> Зеньковский В. В. История русской философии. В двух томах. Т. I. Париж, 1989. С. 394. На языке Я. Беме: “Здесь вся вечность открыта в едином образе” (Беме Я. О тройственной жизни человека. Уфа, 2011. С. 113).
- <sup>51</sup> В толковании власти как “общей воли” (“перенесенной на правителя совокупности воли”) Толстой все же следует логике контрактаристов (Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо и И. Канта), хотя и сознает недостатки теории общественного договора. Руссоистом в романе остается не только Пьер, не способный освободиться от “глубоко врезавшихся в его душе мыслей о *Contrat social*”, но и отчасти сам автор – в своем теоретизировании о “воле народа” и “силе, на которой основана власть”. Упоминаемые Толстым в эпилоге Фихте и Шеллинг внесли заметный вклад в волюнтаристическую теории власти, от которой так и не смог отказаться автор “Войны и мира”: ведь толстовский фатализм представляет собой обоснование примата “воли божества” в мировой истории. Эта таинственная воля, согласно Толстому, использует произвол лица в каких-то своих непонятных нам целях. В отличие от “фатума древних” она не аннулирует свободу лица. Именно в таком фаталистическом мирозерцании, не отвергающем личную свободу воли, толстовские интеллектуалы (Пьер, князь Андрей) находят успокоение и защиту от слепящего света власти.
- <sup>52</sup> “Бодание” Толстого с Гегелем особенно ощущается в тех главах “Войны и мира”, где фигурирует Сперанский. Неприятие гегелевского “абсолютного рационализма” было, видимо, отчасти сформировано у Толстого Б. Н. Чичериным, разработавшим довольно-таки поверхностную трактовку гегелевской философии. Скрытая полемика Толстого с Чичериным, заимствовавшим у Гегеля преимущественно логическую схематику и не увидевшего в нем интуитивиста-мистика, продолжателя дела мысли Якоба Беме, была продолжена в романе “Анна Каренина”. Нужно сказать, что толстовская концепция войны в действительности созвучна тому, что утверждал Гегель в свой *Великий полдень*, в 1806 году, когда Наполеон вводил войска в охваченную пожарами Йену: **война есть дух и форма, в которой осуществляется абсолютная свобода народа от всякого конечного сущего; война дает почувствовать всю чудовищную мощь негативного “единичным системам собственности” и каждой личности в ее мнимой самостоятельности, и именно эта “сила негативного” способствует единению нации и сохраняет ее как единую нравственную субстанцию** (Hegel G. W. F. *Phänomenologie des Geistes. Nach dem Texte der Originalausgabe*. Berlin, 1975. S. 341). Толстой в “Войне и мире” с поразительной феноменологической точностью изображает проявления этой чудовищной мощи негативного, возбуждающей людей убивать друг друга в интересах Целого: “Вот оно!.. Опять оно!” – сказал себе Пьер, и невольный холод пробежал по его спине. В измененном лице капрала, в звуке его голоса, в возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту таинственную, безучастную силу, которая заставляла людей против своей воли умерщвлять себе подобных, ту силу, действие которой он видел во время казни. Бояться, стараться избежать этой силы, обращаться с просьбами или увещаниями к людям, которые служили орудиями ее, было бесполезно” (Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. VII. С. 109). Нетрудно узнать в толстовском “оно” гегелевское “негативное”. По верному наблюдению Н. О. Лосского, Чичерин “считал себя последователем Гегеля, но на самом деле был от него крайне далек по духу всей своей системы; он неправильно рассматривал Гегеля как типичного представителя рационализма, отрицая мистические элементы его философии” (Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. С. 161).
- <sup>53</sup> “Бог есть день и ночь, зима и лето, война и мир...” – говорил Гераклит Темный. По-своему темнил и Толстой, отрицая действенность человеческого произвола в истории и противопоставляя ему “волю провидения”. Он был солидарен и с Гераклитом, и с Гегелем, полагавшими, что в войне обнаруживается божественная мощь судьбы и вместе с тем – человеческое сознание свободы. Это “непоколебимое, непроверяемое, не подлежащее опыту и рассуждению сознание свободы” декларируется во второй части эпилога “Войны и мира”.
- <sup>54</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. VI. С. 268. О нечеловеческой роли Наполеона говорил на своих лекциях о гегелевской “Феноменологии духа” Александр Кожев: “С христианской точки зрения, Наполеон олицетворяет Тщеславие: следовательно, он является воплощением Греха (Антихрист). Он первый, кто осмелился приписать абсолютную (универсальную) ценность человеческой Единичности. Для Канта и для Фихте он и есть Зло (*das Böse*): существо безнравственное *par excellence*”

(Коллеж социологии. 1937–1939. СПб., 2004. С. 54). Очевидно, с такой оценкой Наполеона согласился бы и Толстой.

<sup>55</sup> Там же. С. 273.

<sup>56</sup> Там же. С. 274. В терминах метаистории Наполеон – орудие “демона великодержавной государственности”. Его “темная миссия” заключалась в “увеличении страданий” человечества путем непрерывных международных кровопролитий (Андреев Д. Л. Роза мира. С. 505).

<sup>57</sup> Армия, переживающая “упадок духа”, опускающаяся до мотивации инстинктом самосохранения, легко превращается в неуправляемую толпу. Одна из мыслей, мучивших князя Андрея при воспоминании об отступлении русской армии в 1805 году: “Это толпа мерзавцев, а не войско”.

<sup>58</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. VI. С. 125.

<sup>59</sup> Решившийся на убийство Наполеона Пьер вместо исполнения своего замысла спасает от случайной смерти французского капитана Рамбаля, которого позднее вторично спасают, отогревая, русские солдаты; Петя Ростов опекает из жалости захваченного в плен французского барабанщика. Кутузов говорит своим солдатам о пленных французах: “Пока они были сильны, мы их не жалели, а теперь и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так ребята?” Так ненависть к врагу у русских оборачивается в случае победы любовью-жалостью.

<sup>60</sup> Вникнув в историософскую концепцию Толстого, Страхов заметил: “Французы явились как представители космополитической идеи...” (Страхов Н. Н. Литературная критика. С. 285). Этой идее Толстой противопоставил “мысль народную”, которую неплохо выразил в романе “полезный и храбрый человек” Тихон Щербатый, владевший топором, “как волк владеет зубами”: истреблять нехристей-миродеров как бешеных собак, раз уж нагрянули в Россию без приглашения. Видимо, и он любил врагов, но отнюдь не по-христиански.